



## ПИСЬМА К АНТОНУ ВАН РАППАРДУ 1881—1885

Голландский живописец и график Антон ван Раппард (1858—1892) в 1880—1885 гг. был близким другом Винсента и единственным, кроме Тео, человеком, который уже в эти ранние годы распознал и оценил его талант. Их дружба началась в Брюсселе зимой 1880/81 г., когда Винсент ежедневно работал в мастерской Раппарда. Раппард остался верен этой дружбе и в гаагский период, когда «порядочное» общество отвернулось от Ван Гога. Конец ей положил сам Винсент, раздраженный критическими замечаниями Раппарда по поводу его работ, сделанными с позиций академизма.

*Эттен,  
12 октября 1881*

Только что получил от тебя книгу «Гаварни, человек и художник»; благодарю, что ты не забыл вернуть ее. Гаварни, по-моему, великий художник и, конеч-

но, очень интересен как человек. Время от времени он, несомненно, ошибался — взять, например, его отношение к Теккерею и Диккенсу, но такие ошибки в природе всех людей.

Кроме того, он, по-видимому, раскаялся в своем поведении, так как впоследствии посылал рисунки людям, к которым вначале относился недостаточно хорошо. Впрочем, сам Теккерей вел себя по отношению к Бальзаку подобным же образом и, кажется, зашел еще дальше; тем не менее они, в сущности, родственные души, хотя это не всегда бывало ясно им самим...

Не терпится узнать, какие у тебя планы на зиму. В случае если ты поедешь в Антверпен, Брюссель или Париж, обязательно загляни по пути к нам; если же останешься в Голландии, мы, надеюсь, будем встречаться.

Зимой здесь тоже очень красиво, и мы, несомненно, сумеем кое-что сделать: если нельзя будет писать на воздухе, поработаем с моделью, скажем, в доме у кого-нибудь из крестьян.

Последнее время я много работал с моделью, так как подыскал людей, которые охотно соглашаются позировать. У меня готовы всевозможные этюды — мужчины, женщины, землекопы, сеятели и т. д. В настоящий момент я много работаю углем и черным карандашом, пробую также сепию и акварель. Не скажу, что ты обнаружишь в моих рисунках успехи, но перемену в них ты несомненно заметишь...

Я очень удивлюсь, если ты спокойно проживешь эту зиму в Эттене; лично мое намерение именно таково — я ни в коем случае не поеду за границу. Ведь с тех пор как я вернулся в Голландию, я сделал довольно большие успехи не только в рисовании, но и во многом другом. Вот я и намерен потрудиться здесь еще некоторое время: я провел за границей — в Англии, Франции и Бельгии — так много лет, что мне давно уже пора некоторое время снова побыть на родине...

Уверен, что если бы ты мог приехать на этих днях, пока продолжается листопад, то даже за одну неделю сумел бы сделать что-нибудь очень хорошее. Если решишь приехать, мы все будем в восторге.

*Эттен,  
15 октября 1881*

Итак, ты серьезно намерен еще до Рождества отправиться в Брюссель, чтобы писать там обнаженную натуру.

Что ж, я это понимаю, особенно при твоём теперешнем настроении, и отпускаю тебя с легким сердцем. *Se que doit arriver arrivera*<sup>1</sup>.

Уверен, что ты не должен рассматривать несколько дней, проведенных в Эттене, как пренебрежение своими обязанностями, наоборот, считай само собой разумеющимся, что, находясь здесь, ты не изменишь

---

<sup>1</sup> Чему быть, того не миновать (*фр.*).

своему долгу: ведь ни ты, ни я не будем сидеть тут без дела.

Если захочешь, ты сможешь порисовать здесь и фигуру. Не помню, говорил ли я тебе, что мой дядя в Принсенхаге видел маленькие наброски в твоём письме и нашел их очень хорошими, он с удовольствием отметил, что ты делаешь успехи как в рисунке фигуры, так и в пейзаже...

Я держусь того мнения, Раппард, что вначале тебе следует работать с *одетой* моделью. Нет никакого сомнения, что обнаженную модель также следует изучать, и притом основательно, однако в жизни нам приходится иметь дело с одетыми фигурами, разве что ты намерен пойти путем Бодри, Лефевра, Энне и многих других, кто сделал своей специальностью обнаженную натуру. В таком случае тебе, конечно, придется почти исключительно посвятить себя изучению обнаженной модели, и чем больше ты ограничишь себя, сосредотачиваясь только на ней, тем лучше. Но я, в общем-то, не думаю, что ты изберешь такой путь: ты слишком глубоко чувствуешь многое другое. Женщина на поле, собирающая картофель, землекоп, сеятель, девушка на улице или дома кажутся тебе настолько прекрасными, что ты едва ли возмеешь желание трактовать их в совсем иной манере, чем ты это делал до сих пор. У тебя слишком глубокое чувство цвета, слишком тонкое восприятие тона, ты слишком пейзажист, для того чтобы пойти по стопам Бодри. Это верно еще и потому, Раппард, что ты, как мне кажется, тоже окончательно осядешь

в Голландии. Ты слишком *голландец*, для того чтобы стать вторым Бодри. Тем не менее я счастлив узнать, что ты пишешь такие красивые этюды обнаженной фигуры, как те два больших, что я видел: лежащую коричневую и сидящую фигуры. Я сам не прочь бы написать такое. Я высказываю тебе откровенно все, что думаю; ты, со своей стороны, должен платить мне тем же.

Замечание, сделанное тобой по поводу «Сеятеля»: «Этот человек не сеет, а позирует для фигуры сеятеля», очень метко. Однако я смотрю на свои нынешние работы исключительно как на этюды с модели и не претендую ни на что иное.

Лишь через год или даже несколько лет я получу возможность сделать сеятеля, который по-настоящему сеет; тут я с тобой согласен.

Ты сообщаешь, что ничего не делал на протяжении двух недель. Мне, конечно, знакомы такие периоды: они у меня тоже бывали прошлым летом, когда я работал над рисунком не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Это такое время, когда проходишь через какие-то метаморфозы.

Я видел «Панораму» Месдага. Я был там с художником де Боком, который делал ее вместе с ним; де Бок рассказал мне об инциденте, происшедшем после того, как она была закончена, и этот инцидент показался мне очень забавным.

Знаком ли ты с художником Дестре? Между нами говоря, он воплощение слащавого педантизма. Так вот, однажды этот господин явился к де Боку и вы-

сокомерно, снисходительно и медоточиво объявил: «Де Бок, я тоже был приглашен писать эту панораму, но отказался ввиду того, что это так антихудожественно».

На что де Бок ответил: «Господин Дестре, что легче — писать панораму или отказаться писать панораму? Что более художественно — сделать вещь или не сделать ее?» Полагаю, что ответ угодил прямо в цель.

У меня хорошие вести от моего брата Тео. Он шлет тебе горячий привет. Не пренебрегай возможностью поддерживать с ним знакомство и время от времени пиши ему. Он умный, энергичный человек, и я очень сожалею, что он не художник, хотя для самих художников очень хорошо, что существуют такие люди, как он. Ты сам убедишься в этом, если поближе познакомишься с ним...

Я разыскиваю одно стихотворение, кажется, Томаса Гуда: «Песнь о рубашке»; не слышал ли ты случайно о нем, а если слышал, то не можешь ли как-нибудь раздобыть его мне?..

Говоря откровенно, Раппард, я охотно сказал бы тебе: «Оставайся здесь». Хотя у тебя, конечно, могут быть неизвестные мне, но достаточно веские причины не отказываться от своего плана.

Поэтому, рассуждая исключительно с творческой точки зрения, я скажу лишь, что, по моему мнению, ты, как голландец, будешь больше чувствовать себя дома в голландском интеллектуальном окружении и получишь больше удовольствия, работая (будь то

фигура или пейзаж) в соответствии с характером нашей страны, чем специализировавшись исключительно на обнаженной фигуре.

Хоть я люблю Бодри и других, например Лефевра и Энне, я безусловно предпочитаю им Жюля Бретона, Фейен-Перрена, Милле, Улисса Бютена, Мауве, Артца, Израэльса и т. д.

Говорю так потому, что уверен: в сущности, ты и сам того же мнения. Ты, конечно, знаешь очень много в различных областях искусства, но и я видел не меньше твоего. Я, так сказать, новичок лишь в искусстве рисования, но тем не менее вовсе не такой уж плохой судья в вопросах искусства вообще, и тебе не следует слишком легко отмахиваться от тех немногих суждений, какие я высказываю. А как я понимаю, самое лучшее для нас с тобой — работать с натуры в Голландии (фигура и пейзаж). Тут мы остаемся сами собой, тут мы у себя дома, тут мы в своей стихии. Чем больше мы узнаем о том, что делается за границей, тем лучше; но мы никогда не должны забывать, что корнями своими уходим в голландскую почву.

*Эттен,  
2 ноября 1881*

Рад, что тебе удалось быстро найти квартиру и ты теперь живешь возле Академии.

Насчет некоего невысказанного вопроса, который я прочел между строк твоей открытки, замечу, что отнюдь не считаю «глупостью» твое решение



поступить в вышеупомянутое святилище; напротив, я считаю такое решение мудрым, даже настолько мудрым, что мне *почти* хочется сказать — *чересчур* мудрым.

На мой взгляд, было бы куда лучше, если бы ты остался здесь и твоя экспедиция не состоялась, но, раз уж ты предпринял ее, я от всей души желаю тебе успеха и не сомневаюсь в нем, невзирая ни на что и *quand même*<sup>1</sup>.

Даже усердно посещая занятия в Академии, ни ты, ни другие никогда не станете в моих глазах «академиками» в уничижительном смысле этого слова. Я, разумеется, не принимаю тебя за одного из этих педантов, которых можно назвать фарисеями от искусства и образцом которых, на мой взгляд, является «добряк» Сталларт...

Пожалуйста, не считай меня фанатиком или человеком предвзятым. Конечно, у меня, как и у любого из нас, хватает мужества брать чью-либо сторону: иногда в жизни поневоле приходится высказать то, что думаешь, откровенно выложить свое мнение и держаться его.

Но, принимая во внимание, что я изо всех сил стараюсь видеть во всем сперва бесспорно хорошую сторону и лишь потом, с крайней неохотой, замечаю также и плохую, я беру на себя смелость утверждать, что постепенно выработаю широкий непредубежденный, так сказать великодушный взгляд на вещи, даже

---

<sup>1</sup> Несмотря ни на что (*фр.*).

если сейчас еще не дошел до этого. Поэтому я рассматриваю как «une petite misère de la vie humaine<sup>1</sup>» встречу с человеком, который считает, что он всегда прав, и требует, чтобы его всегда считали правым; поэтому же я так сильно сомневаюсь в собственной непогрешимости и непогрешимости всех детей человеческих вообще.

Что касается тебя, то ты, по-моему, тоже стремишься к великодушному, широкому и непредубежденному взгляду на вопросы жизни, и особенно искусства. Поэтому я отнюдь не смотрю на тебя как на фарисея в нравственном и художественном смысле.

Тем не менее такие люди, как мы с тобой, при всей чистоте своих намерений, в конце концов, так же несовершенны и часто совершают очень тяжкие ошибки, а кроме того, находятся под влиянием окружения и обстоятельств. И мы обманывали бы себя, если бы возомнили, что твердо стоим на ногах и что нам нечего опасаться падения.

Мы с тобой думаем, что твердо стоим на ногах, но *malheur à nous*<sup>2</sup>, если мы станем безрассудно храбры и неосмотрительны лишь потому, что уверены — и с некоторым основанием — в наличии у нас известных достоинств. Переоценивая то хорошее, что в нас есть (если оно действительно есть), легко можно прийти к фарисейству.

Когда в Академии или еще где-нибудь ты пишешь энергичные этюды с обнаженной модели вроде

---

<sup>1</sup> Маленькая беда человеческой жизни (*фр.*).

<sup>2</sup> Горе нам (*фр.*).

тех, которые показывал мне, когда я рисую людей, копающих картошку на поле, мы делаем хорошие вещи, благодаря которым добьемся успеха. Но мне кажется, мы должны становиться особенно недоверчивы и держаться особенно начеку по отношению к самим себе, как только замечаем, что стоим на верном пути.

В таком случае мы должны сказать себе: *«Мне надо быть особенно осторожным, потому что я такой человек, который способен сам себе все испортить своей неосмотрительностью именно в тот момент, когда все, по видимости, идет хорошо»*. Каким же образом должны мы соблюдать осторожность? Этого я точно определить не могу, но я самым решительным образом держусь того мнения, что в упомянутом выше случае необходимо соблюдать осторожность, ибо то, на чем я настаиваю, я познал на основании моего собственного горького опыта, ценой собственных страданий и стыда...

Итак, я одобряю твое решение писать обнаженную натуру в Академии именно потому, что уверен: в отличие от фарисеев ты не сочтешь себя праведником и не станешь смотреть на тех, чьи взгляды отличаются от твоих, как на людей незначительных. К этому убеждению, которое становится все более глубоким, меня привели не твои слова и уверения, а твоя работа...

И все-таки мне хотелось бы, чтобы ты писал обыкновенных людей в одежде. Нисколько не удивлюсь, если ты преуспеешь именно в этом: я часто думаю

о том клерке, портрет которого ты нарисовал во время проповеди досточтимого и ученого отца Кама. Но с тех пор я не видел у тебя подобных рисунков. А жаль! Уж не исправился ли ты случайно и не стал ли прислушиваться к проповедям, вместо того чтобы обращать все внимание на проповедника и его аудиторию?

*Эттен,  
12 ноября 1881*

Не получив от тебя до сих пор письма, я подумал: «Наверно, Раппарду пришлось не по вкусу мое последнее письмо: в нем, видимо, содержалось нечто такое, от чего он пришел в скверное настроение». Qu'y faire? Но предположим, я прав. Разве это хорошо с твоей стороны? Я, конечно, не всегда могу разобраться, верны или неверны мои рассуждения, уместны они или неуместны. Но я знаю одно: как бы грубо и резко я ни выражался в письмах к тебе, я питаю к тебе такую горячую симпатию, что, спокойно прочитав и перечитав мое послание, ты всегда увидишь и почувствуешь, что человек, который говорит с тобой таким образом, не враг тебе. А зная это, совершенно невозможно не извинить или даже не проглотить некоторые выражения, пусть немножко грубые или резкие, которые впоследствии, возможно, покажутся тебе менее грубыми и резкими, чем вначале.

Как ты думаешь, Раппард, почему я пишу тебе и говорю с тобой таким образом? Неужели потому,

что норовлю поймать тебя в ловушку, что я соблазнитель, который хочет, чтобы ты свалился в волчью яму, или потому, что у меня, напротив, есть веские основания думать: «Раппард пытается совершить прогулку по очень скользкому льду»? Да, я хорошо знаю, что существуют люди, которые не только твердо стоят на очень скользком льду, но даже выкидывают на нем *tours de force*<sup>1</sup>; но даже если ты твердо держишься на ногах (я не утверждаю, что это не так), я все же предпочел бы, чтобы ты шел по тропинке или мощеной дороге, а не по льду.

Прошу тебя, не злись и дочитай до конца, а если уж рассердишься, то не рви письмо, а сначала сосчитай до десяти: один, два, три и так далее.

Это успокаивает, что очень важно: дальше последует нечто действительно страшное. Вот что я хочу сказать.

Раппард, я верю, что, хотя ты работаешь в Академии, ты все более упорно пытаешься стать настоящим реалистом и что даже в Академии ты будешь держаться за реализм, хотя сам и не сознаешь этого. Незаметно для тебя Академия становится докучной любовницей, которая мешает пробуждению в тебе более серьезного, горячего и плодотворного чувства. Пошли эту любовницу ко всем чертям и без памяти влюбись в свою настоящую возлюбленную — Даму Натуру, или Реальность.

Уверяю тебя, что я тоже без памяти влюбился в эту Даму Натуру, или Реальность, и с тех пор чув-

---

<sup>1</sup> Фокусы, акробатические номера (*фр.*).

ствую себя глубоко счастливым, хотя она все еще упорно сопротивляется, не хочет меня, и я частенько получаю нахлобучку, пытаюсь раньше времени назвать ее своею. Следовательно, я не могу сказать, что уже завоевал ее надолго, но смею утверждать, что ухаживаю за ней и пытаюсь подобрать ключ к ее сердцу, несмотря на весьма ощутимые отповеди.

Но не думай, что существует только одна женщина по имени Дама Натура, или Реальность; нет, это только фамилия целого семейства сестер с различными именами. Так что нам нет нужды быть соперниками.

Ясно, дорогой мой? Разумеется, все это, как ты понимаешь, говорится в чисто аллегорическом смысле.

Так вот, на мой взгляд, существует два рода любовниц. Есть такие, с которыми занимаешься любовью, все время сознавая, что с одной или даже с обеих сторон нет постоянного чувства и что ты не отдаешься своему увлечению полностью, безусловно и безоговорочно. Такие любовницы расслабляют человека, они льстят и портят его; они подрезают крылья очень многим мужчинам.

Любовницы второго рода совершенно не похожи на первых. Это *collets montés* — фарисейки, иезуитки! Это женщины из мрамора, сфинксы, холоднокровные гадюки, которые хотят раз и навсегда связать мужчину по рукам и ногам, не платя ему со своей стороны безоговорочным и полным подчинением.

Такие любовницы — сущие вампиры: они *леденят и превращают в камень*.

Я уже оговорился, старина, что все это следует понимать в чисто аллегорическом смысле. Итак, я приравниваю любовниц первого рода, подрезающих мужчинам крылья, к тому направлению в искусстве, которое переходит в банальность; любовниц же второго рода, *les collets montés*, что леденят и превращают в камень, я приравниваю к реальности в академическом смысле, или — если ты хочешь, чтобы я подсластил пилюлю, — к академической нереальности; впрочем, сахар все равно не прилипает к пилюле, и, боюсь, ты разглядишь ее сквозь тонкий его слой. Пилюля, конечно, горькая, но зато очень полезная — это хинин.

Понял, старина?

Однако, благодарение Богу, помимо этих двух женщин существуют и другие — из семейства Дамы Натуры, или Реальности, однако, чтобы завоевать одну из них, нужна большая душевная борьба.

Они требуют от нас ни больше ни меньше как всего сердца, души и разума, всей любви, на которую мы способны; при этом условии они подчиняются нам. Эти дамы просты, как голуби, и в то же время мудры, как змии (Матф., X, 16); они прекрасно умеют отличать тех, кто искренен, от тех, кто фальшивит.

Эта Дама Натура, эта Дама Реальность обновляет, освежает, дает жизнь!

Есть люди — и мы с тобой, Раппард, вероятно, принадлежим к ним, — которые, лишь полюбив

по-настоящему, начинают сознавать, что до этого у них были только любовницы первого или второго рода, и которые сознательно или бессознательно, но всегда достаточно знакомы с представительницами обоих этих родов.

Словом, соответственно моей аллегории, ты сейчас связался с любовницей, которая леденит тебя, сосет твою кровь, превращает тебя в камень.

Поэтому говорю тебе, дружище, ты должен вырваться из объятий этой мраморной (а вдруг она гипсовая? Какой ужас!) женщины, иначе окончательно замерзнешь.

Помни истину: если даже я — соблазнитель, роющий глубокую яму, в которую ты должен упасть, не исключено, что яма эта может оказаться кладезем, где обитает истина. Вот так-то, старина. Думаю, что твоя любовница обманет тебя, если ты дашь обратить себя в рабство. Пошли-ка ее ко всем чертям, и чем скорее, тем лучше. Но повторяю, толкуй все сказанное в чисто аллегорическом смысле...

Недавно я сделал рисунок «Завтрак»: отдыхающий рабочий, который пьет кофе и отрезает себе кусок хлеба. Рядом, на земле, лопата, принесенная им с поля.

И все-таки женщина, которую, судя по твоим словам, ты любишь, друг мой, и которая пока что является твоим идеалом, слишком холодна. Она именно такова, как я представлял ее себе: мрамор, гипс, в лучшем случае сомнамбула. Словом, все что угодно, только не живое существо.



Итак, ты утверждаешь следующее: откуда она взялась? С небес. Где обитает? Повсюду. К чему стремится? К красоте и возвышенности.

Слава богу, ты, по крайней мере, искренен и, сам того не подозревая, соглашаешься со мной в том, что избрал себе любовницу из тех, кого я именую *collets montés* и т. д.

Да, ты описал ее совершенно правильно. Но до чего же фарисейка эта красивая дама и до чего же ты влюблен в нее. Экая жалость!

«Сударыня, кто вы такая?» — «Я — *Красота* и *Возвышенность*». — «Мне ясно, красивая и возвышенная дама, что вы считаете себя именно такой. Скажите только, таковы ли вы на самом деле? Я охотно допускаю, что в определенные критические минуты, скажем, в дни большого горя или радости, человек может почитать себя и красивым, и возвышенным; надеюсь, я принадлежу к тем, кто способен оценить такие качества. Почему же, несмотря на все это, вы оставляете меня холодным и равнодушным, сударыня? Я уверен, что я не чересчур толстокож: я встречал немало женщин, порою даже не хорошеньких и далеко не возвышенных, которые очаровывали меня. Но вы-то, сударыня, ни в коей мере не очаровываете меня. Человеку не подобает избирать своим ремеслом красоту и возвышенность!

Сударыня, я вовсе не люблю вас и, кроме того, не верю, что вы умеете любить, если говорить не о любви на академических небесах, а о настоящей близости —

где-нибудь в кустах или у домашнего очага. Нет, госпожа Красота и Возвышенность, о настоящей любви вы ничего не знаете. Видите ли, сударыня, я всего лишь человек с человеческими страстями, и, пока я хожу по земле в этом мире, у меня нет времени заниматься небесной и мистической любовью, потому что я испытываю чувства более земного и откровенного характера.

Признаюсь, мне тоже нужны красота и возвышенность, но еще больше — кое-что иное, например доброта, отзывчивость, нежность. Есть ли в вас все это, моя милая фарисейка? Склонен сомневаться. А кроме того, скажите мне, пожалуйста, сударыня, действительно ли вы обладаете телом и душой? Ей-богу, я склонен сомневаться и в этом.

Послушайте, прелестная дама, утверждающая, что ваши заветные стремления — Красота и Возвышенность (которые, однако, могут быть только *результатом* стремлений, а не самими *стремлениями*), откуда бы вы ни явились, вы несомненно происходите не из лона живого Бога и тем более не из чрева женщины. Вон отсюда, сфинкс, изыди немедля, ибо говорю тебе — ты не что иное, как выдумка. Ты не существуешь («Le tiaple n'ecziste boind»<sup>1</sup>), как сказал бы Нюсинген. Но если ты действительно существуешь, если ты все-таки от кого-то произошла, то уверена ли ты, что твоим прародителем не является сам отец лжи

---

<sup>1</sup> Искаженная немецким акцентом французская фраза: «Le diable n'existe point» — «Дьявола не существует».

Сатана? Разве в тебе меньше от ехидны и от змеи, чем в нем самом, моя прекрасная, моя возвышенная дама?..» Спроси ее, добра ли она и полезна, любит ли она и нуждается ли в любви. Тогда она смутится и если ответит «да», значит, солжет.

А откуда появилась та, другая, не похожая на даму с вышеописанными стремлениями?

Я далек от того, чтобы отрицать ее божественность и бессмертие: я безусловно верю в них и в первую очередь в них; но с другой стороны, она в то же время совершенно земное существо, она — *женщина*, рожденная женщиной.

Где она обитает? Я отлично знаю где: рядом с любимым из нас. Каковы ее стремления? Что я о них знаю и как я могу объяснить их? Я предпочел бы промолчать, но поскольку я должен говорить, скажу, что они, на мой взгляд, таковы: любить и быть любимой, жить и давать жизнь, обновлять ее, возвращать, поддерживать, работать, отвечая пылом на пыл, и, самое главное, быть доброй, полезной, на что-то годиться, хотя бы, например, на то, чтобы разжечь огонь в очаге, дать кусок хлеба с маслом ребенку и стакан воды больному.

Но ведь все это тоже очень красиво и возвышенно! Да, но она не знает этих слов; более того, она считает, что все это совсем естественно, она не делает этого нарочито, *в ее намерения не входит* поднимать вокруг себя шум: она думает, что никто не обращает на нее внимания. Эти ее «рассуждения»,

как видишь, не слишком блистательны, не слишком изысканны, зато чувства ее всегда подлинны. To know what's her duty she does not go to her head, she goes to her heart...<sup>1</sup>

У меня есть также много возражений против различных твоих догм, но, понимая, что при данных обстоятельствах моей главной *bête noire*<sup>2</sup> является упомянутая любовница, я оставлю твои догмы в покое. Мне кажется, что, если бы ты выпроводил госпожу Красоту и Возвышенность и полюбил ту, другую, новое чувство вложило бы тебе в голову и сердце совсем иные догмы. И некоторые признаки наводят меня на мысль, что, как бы сильно ты ни был привязан к твоей госпоже Красоте и Возвышенности, ты недолго выдержишь в ее обществе, если только она не успеет оледенить, превратить в камень и поработить тебя. Последнее я считаю не очень вероятным: для этого у тебя слишком много здравого смысла. Будь осторожен, не забывай погреться (в качестве маленькой предосторожности от ледящего соседства твоей дамы) и почаще гуляй (особенно если почувствуешь, что каменеешь). Словом, напоминаю: береженого Бог бережет.

Не сердись на сказанное мною — я добавил бы «ради твоего же блага», если бы это выражение не звучало так академически.

---

<sup>1</sup> О том, в чем состоит ее долг, она спрашивает не свой разум, но сердце (*англ.*).

<sup>2</sup> Что-то особо ненавистное (*фр.*).

*Эттен,  
21 ноября 1881*

На этот раз поговорим о вещах менее отвлеченных: я хочу обсудить с тобой некоторые факты. Ты пишешь, что Тен Кате говорил с тобой о тех же делах, что я. Прекрасно! Но если этот господин Тен Кате — тот человек, которого я однажды видел несколько минут у тебя в мастерской, то я весьма сомневаюсь, чтобы у нас с ним были, по существу, одни и те же взгляды. Это человечек маленького роста с черными или, по крайней мере, темными волосами, одетый в черную пару? Тебе следует знать, что у меня есть привычка очень тщательно приглядываться к внешности человека, для того чтобы добраться до его истинного духовного содержания. Однако я видел — если вообще видел — этого господина Тен Кате только раз, и то очень мимолетно, поэтому я не могу делать никаких заключений по поводу него. Если он в некоторых отношениях говорил тебе то же, что я, — тем лучше. Твой ответ на мое письмо есть, в сущности, ответ лишь наполовину; тем не менее благодарю и за него. Думаю, что ты когда-нибудь дашь мне и вторую половину ответа, но это будет не скоро. Вторая половина, несомненно, окажется длиннее той, которую я получил, и *much more satisfactory*<sup>1</sup>.

Предположим, что когда-нибудь ты в добрый час покинешь Академию; думаю, что тогда ты столк-

---

<sup>1</sup> Куда более удовлетворительной (*англ.*).

нешься с очень своеобразной трудностью, которая отчасти знакома тебе уже сейчас. Человек, подобно тебе регулярно работающий в Академии, не может не почувствовать себя выбитым из привычной колеи, если он вынужден каждый день ставить или, скорее, *создавать* себе новую задачу, после того как долгое время твердо знал, что является его задачей на каждый данный день. Такое выискивание себе работы отнюдь не легкое дело, особенно когда им приходится заниматься неделями и месяцами. Словом, меня не удивит, если ты иногда будешь чувствовать себя так, словно почва уходит у тебя из-под ног. Думаю, впрочем, что ты не из тех, кто впадает в панику из-за такого естественного явления, и что ты скоро восстановишь свое душевное равновесие.

Однако когда ты раз и навсегда, бесповоротно и безоговорочно уйдешь в реальность (а уж если ты уйдешь в нее, то никогда не вернешься обратно), ты начнешь говорить с теми, кто продолжает лнуть к Академии, точно так же, как говорит Тен Кате, точно так же, как говорю я.

Ведь из того, что ты сообщил о господине Тен Кате, я заключаю, что его рассуждения могут быть сведены к следующему: «Раппард, оставь колебания и бесповоротно погрузись в реальность».

Твоя подлинная стихия — открытое море, и даже в Академии ты ведешь себя в соответствии с твоим подлинным характером и натурой; вот почему почтенные господа академики никогда не признают

тебя, а попытаются отделаться от тебя пустыми разговорами.

Господин Тен Кате — моряк неопытный, а я и по-давно: мы еще не умеем вести судно и маневрировать так, как нам хотелось бы; но если мы не потонем и не разобьемся о рифы в кипящих бурунах, мы станем хорошими моряками. Тут уж ничего не поделаешь: каждый, кто рискует выйти в открытое море, должен пройти через период тревог и блужданий на ощупь. Вначале рыба ловится плохо или не ловится совсем, но мы все же знакомимся со своим маршрутом и учимся вести наше маленькое судно по курсу — для начала это необходимо. Но не сомневайся, через некоторое время мы поймаем уйму рыбы, и притом крупной!

Думаю, впрочем, что господин Тен Кате забрасывает свои сети в погоне за рыбой другого сорта, чем та, которую ловлю я: по-моему, у нас разные температуры. Разумеется, у каждого рыбака своя специальность, но время от времени рыба одной породы попадает в сети, расставленные на рыбу другой породы, и наоборот; таким образом, не исключено, что иногда у нас бывает схожий улов.

Так вот, тебе подчас перестают нравиться сеятели, швеи и землекопы. Ну и что из того? Со мной бывает то же самое, хотя у меня это «подчас перестают нравиться» в значительной мере перевешивается энтузиазмом. Для тебя же эти два фактора имеют, кажется, равный вес.

Сохранил ли ты мои писульки? Если у тебя есть свободная минута и если они не погибли в огне, сове-

тую тебе перечитать их, хотя такой совет в моих устах и может показаться претенциозным. Я ведь писал их не без серьезных намерений, хотя и не боялся при этом откровенно высказывать свои мысли и давать свободу своему воображению. Ты утверждаешь, что в душе я фанатик и что я, вне всякого сомнения, проповедую определенную доктрину.

Что ж, если ты хочешь воспринимать это таким образом — не возражаю: когда доходит до сути дела, я не стыжусь своих чувств и не краснею, признаваясь в том, что я человек со своими принципами и своим кредо. Но куда стремится толкнуть людей, и в особенности меня самого, мой фанатизм? В открытое море! А какую доктрину я проповедую? Друзья мои, отдадим нашему делу всю душу, будем работать от всего сердца и преданно любить то, что любим.

*Любить то, что любим*, — каким излишним кажется этот призыв и в какой огромной степени он, тем не менее, оправдан!

Ведь есть такое множество людей, которые тратят свои лучшие силы на то, что недостойно их, и относятся к тому, что любят, как мачеха, вместо того чтобы полностью отдаться непреодолимой склонности сердца. А мы пытаемся усмотреть в подобном поведении «твердость характера» и «силу разума», тратим свою энергию на недостойную тварь, упорно пренебрегая своей настоящей возлюбленной, и проделываем все это с «самыми чистыми намерениями», полагая, что мы обязаны это делать из «нравственных побуждений» и «чувства долга»!



*23 ноября 1881*

Перечитывая твои письма, особенно последнее, я нашел в них такие живые и забавные остроты, что меня раздражает нетерпение продолжить нашу переписку.

Так-так! Значит, в конечном счете я фанатик! Очень хорошо, что твои слова попали в цель, ну просто навывлет пробили мою кожу! *Que soit!* Благодарю тебя за твоё открытие! Раньше я не смел этому верить, но ты мне все разъяснил: раз я фанатик, значит, у меня есть *воля, убеждение*, я иду в *определённом направлении* и не довольствуюсь этим, но хочу, чтобы и другие следовали за мной! Я — фанатик? Вот и слава богу! Прекрасно, с данной минуты я постараюсь только им и быть! А кроме того, мне хочется, чтобы моим спутником был мой друг Раппард, — для меня совсем не безразлично, упусти я его из виду или нет. Не полагаешь ли ты, что я прав?

Я, конечно, чересчур поспешил, заявив, что хочу гнать людей в «открытое море» (см. мое предыдущее письмо). Если бы я занимался только этим, я был бы жалким варваром. Но тут есть одно обстоятельство, которое делает мои желания более разумными. Человек не может долго болтаться в открытом море — ему необходима маленькая хижина на берегу, где его, сидя у горящего очага, ждут жена и дети.

А знаешь, Раппард, куда я гоню себя самого и пытаюсь также гнать других? Я хочу, чтобы все мы стали рыбаками в том море, которое называется океаном

реальности. С другой стороны, я хочу, чтобы у меня и моих спутников, которым я время от времени докучаю, была вот такая маленькая хижина. Самым решительным образом хочу! И пусть в этой хижине будет все, что я перечислил! И так, открытое море и это пристанище на берегу или это пристанище на берегу и открытое море. А что касается доктрины, которую я проповедую, то эта моя доктрина «Друзья, давайте любить то, что любим» основана на аксиоме. Я считал излишним напоминать об этой аксиоме, но для ясности приведу и ее. Эта аксиома: «Друзья, мы любим».

*[Июнь 1882]*

Пришло письмо насчет моих рисунков, но денег я получил еще меньше, чем ожидал, хотя и рассчитывал всего на 30 гульденов за семь листов. Я получил 20 гульденов и нагоняй в придачу: подумал ли я о том, что такие рисунки не могут представлять собой никакой продажной ценности?

Я думаю, ты согласишься со мной, что времена сейчас нелегкие и такие случаи (а бывают и похуже: в сравнении с тем, что достается многим другим, 20 гульденов еще можно назвать щедростью) не слишком-то ободряют человека.

Искусство ревниво, оно требует от нас всех сил; когда же ты посвящаешь их ему, на тебя смотрят как на непрактичного простака и еще черт знает на что. Да, от всего этого во рту остается горький вкус.

Ну да ладно, все равно надо пробиваться дальше.

Я ответил моему корреспонденту, что не претендую на знакомство с продажной ценностью вещей; поскольку он, как торговец, говорит, что мои рисунки не представляют собой продажной ценности, я не хочу ни противоречить ему, ни спорить с ним, так как лично придаю больше значения художественной ценности и предпочитаю интересоваться природой, а не высчитывать цены и определять коммерческую прибыль; если же я все-таки заговорил с ним о цене и не мог отдать свои рисунки бесплатно, то лишь потому, что у меня, как и у всех людей, есть свои человеческие потребности: мне требуется еда, крыша над головой и тому подобное. Поэтому я считал своим долгом оговорить эти маловажные обстоятельства. Затем я прибавил, что не намерен навязывать ему свою работу вопреки его желаниям и готов послать ему другие рисунки, хотя в равной мере готов и примириться с отказом от его услуг.

Я совершенно уверен, что такое мое поведение будет сочтено неблагодарностью, грубостью и нахальством и что, как только пойдет речь на эту тему, я услышу примерно такие упреки: «Твой дядя в Амстердаме питал насчет тебя такие благие намерения, был так добр к тебе, оказал тебе такую помощь, а ты из-за непомерных претензий и упрямства проявил такую неблагодарность по отношению к нему, что во всем виноват ты один, и т. д., и т. д.»

Дружище Раппард, я, в сущности, не знаю, что мне делать после такого инцидента — смеяться или плакать. Я считаю его чрезвычайно характерным. Конечно, эти богатые торговцы — люди пристойные, честные, справедливые, лояльные, чувствительные, а мы — просто несчастные дураки, которые сидят и рисуют в деревне, на улице, в мастерской с раннего утра до поздней ночи, иногда на солнце-пеке, иногда под снегом; к тому же нам чуждо чувство признательности, здравый смысл и, главное, «пристойные манеры». Ладно, что поделаешь!

*Воскресенье,  
вечер [до 15 августа 1882]*

Некоторое время назад у нас была выставка произведений французского искусства из частных коллекций: Добиньи, Коро, Жюль Дюпре, Жюль Бретон, Курбе, Диаз, Жак, Т. Руссо; их работы действовали на меня вдохновляюще, но не помешали мне с грустью подумать о том, что эти верные ветераны уходят один за другим.

Коро уже нет, Т. Руссо, Милле, Добиньи отдыхают после долгих трудов. Жюль Бретон, Жюль Дюпре, Жак, Эд. Фрер еще в строю, но долго ли им носить блузу художника? Все они престарелые люди, стоящие одной ногой в могиле. А их преемники, достойны ли они этих первых поистине современных мастеров? Ну что ж, тем больше у нас причин энергично взяться за дело и не раскисать.

*[Около 15 сентября 1882]*

Я положил много усилий на коллекционирование произведений, касающихся шахтеров. «Забастовка углекопов» и английский рисунок на тему катастрофы в шахте — самые лучшие среди них, хотя такие сюжеты встречаются нередко. Мне хотелось бы со временем самому делать подобные этюды. Дай мне знать, Раппард, серьезно ли ты намерен поехать со мной, в случае если я, скажем, месяца на два отправлюсь в край углекопов — Боринаж?

Край этот не райские кущи, и поездка туда не увеселительная прогулка; тем не менее я буду счастлив предпринять ее, как только почувствую, что приобрел достаточную сноровку и научился с молниеносной быстротой изображать людей за работой: я ведь знаю, что там можно найти много замечательных сюжетов, которых почти или, вернее, никогда не разрабатывали другие художники. Но поскольку в таком краю предстоит столкнуться со всевозможными трудностями, было бы весьма полезно отправиться туда вдвоем.

В данный момент обстоятельства не позволяют мне совершить эту поездку, но мысль о ней глубоко засела у меня в голове. Последнее время я часто работал на берегу — рисовал или писал, и меня все больше и больше влечет к себе море.

Не знаю, что подсказывает тебе твой опыт общения со здешними художниками, но я неоднократно

наблюдал, как злобно они нападают на все, что именуют «иллюстративностью», причем то, как они это делают, ясно доказывает, что они совершенно не знакомы с ремеслом иллюстратора и не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этой области.

Более того, они даже не соглашаются или, вернее, не желают дать себе труд посмотреть на сами произведения, а если уж смотрят на них, то впечатление задерживается у них в голове лишь на короткое время, а затем полностью исчезает.

Мой же опыт общения с тобой подсказывает мне, что ты смотришь на эти вещи совершенно иначе.

Вчера я разыскал у себя еще несколько вещей Лансона: «Раздача супа», «Встреча тряпичников», «Уборщики снега»; ночью я встал, чтобы снова посмотреть на них, — такое сильное впечатление они на меня произвели.

Поскольку я сам работаю в этом жанре и пытаюсь делать вещи, которые все больше меня интересуют — сцены на улице, в залах ожидания третьего класса, на берегу, в больнице, — то к этим черно-белым бытописцам народа, как то: Поль Ренуар, Лансон, Доре, Морен, Гаварни, дю Морье, Ч. Кин, Ховард Пил, Хопкинс, Херкомер, Френк Холл и бесчисленное множество других, я питаю особенно глубокое и все более возрастающее уважение.

Ты в какой-то мере чувствуешь, вероятно, то же самое. Во всяком случае, мне всегда приятно видеть,

что ты работаешь над столь симпатичными мне сюжетами, и по временам искренне огорчаюсь из-за того, что мы живем так далеко друг от друга и сравнительно мало общаемся.

*[Сентябрь — октябрь 1882]*

Твое долгожданное письмо было вручено мне минутой назад; отвечаю на него сразу же, так как мне не терпится поболтать с тобой.

Ты спрашиваешь, много ли у меня произведений немцев. Недавно в связи с некоторыми этюдами фигур, сделанными мною, я написал брату о Вотье и кое-каких других немцах фактически то же самое, что пишешь ты.

Я сказал ему, что был на выставке акварели, где видел много вещей итальянцев. Все это сделано ловко, очень ловко, и тем не менее оставляет у меня ощущение пустоты. Поэтому я написал брату: «Старина, что это было за чудесное время, когда в Эльзасе организовался клуб художников: Вотье, Кнаус, Юндт, Георг Сааль, ван Мейден, и в особенности Брион, Анкер и Т. Шулер, которые делали преимущественно рисунки, так сказать, объясняемые и поддерживаемые художниками другого рода, а именно такими писателями, как Эркманн-Шатриан и Ауэрбах. Конечно, итальянцы искусны, очень искусны, но где их настроение, их человеческие чувства? Мне приятнее смотреть на маленький серый набросок Лансона, на каких-нибудь тряпичников, которые едят суп на